

Александр БУТЫРИН

Родился в 1961 году. Живёт в городе Новоуральске Свердловской области.

ДОРОГА ДОМОЙ

Моим родным и близким

I

Осень ещё теплилась жёлтыми цветочками сурепки. Ветер гулял среди голых мётел серых морщинистых тополей, шепеляво перегонял их опавшие жухлые листья. Возвращаясь из райцентра, Люда Кораблёва забежала на почту, маленькое белёное здание около вокзала, узнать, нет ли чего от родных. Из дома вестей не было, но почтальонша Надя, смешливая девчонка с кудряшками, спадающими на веснушчатое лицо, выглядывая из-за загородки, остановила её:

— Оч-чень хорошо, что ты зашла.

Поджав губы, вдруг на удивление серьёзно, как-то многозначительно, с пониманием чего-то очень важного, попросила:

— Лю-юсь, тут Бутыриным телеграмма. Сын из армии возвращается. Ты же там рядышком, будь добра, занеси, пожалуйста, Ивану Митричу.

И, переходя на заговорщический полусёпот, добавила:

— Ты только Зинке с Лиманной, ну этой... манерной, ежли встретишь, не говори, ладно...

Зинку с Лиманной Людмила не встретила, а к Ивану Дмитриевичу по пути зашла в контору «Заготзерна». Сухопарый и немного ссутулившийся, он сидел в бухгалтерии за своим рабочим столом, разбирался с текущими делами. Перед ним — журналы на сделанные работы с нормочасами для бригадного расчёта, развёрнутый номер районной газеты «Свет Октября» с итогами хлебоуборочной кампании. На краю стола — счёты и логарифмическая линейка.

— Здра-а-ассте вам, Иван Дмитрич! Что-й там, в газетках, нынче пишут про наш ударный труд? А я вот вам того... ещё телеграммку радостную принесла прочесть. От сына. Так что танцуй-те! — Люда протянула бланк.

Бутырин-старший поднял глаза, освободил горбинку носа от очков, выпрямился, откинулся на спинку стула, облегчённо выдохнул и тихо засиял:

— Стало быть, дождались... А я уж тут который раз подходил к оренбургскому... Вот ведь...

Матрёне Сергеевне-то... А то вся извелась прямо... Спасибо за весточку. Спасибо...

Ему нравилась эта ладненькая опрятная девушка с серыми внимательными глазами, с чёрными прядями волос, прибранными в упругую косу. Год назад она после учёбы по распределению приехала сюда из Свердловска поднимать целину. Жила она с Бутыриными на одной улице, в доме напротив, у тётки Нюры, у которой «Заготзерно» снимало для неё, молодого специалиста, комнату. С Иваном Дмитриевичем виделась по работе, иногда обращалась к нему с просьбой написать стихи или обличительные частушки на злобу дня для художественной самодеятельности. С Матрёной Сергеевной, женой Ивана Дмитриевича, встречалась по-соседски тоже довольно часто, по тропинке в проулке ходили к колодцу по воду. С их старшими дочерьми Ниной и Томой была в подружках, вместе бегали в клуб на танцы. Со временем её заметили в комсомоле и пригласили на работу в райком.

II

Дорога домой для Бориса была долгой: морем — от Петропавловска до Владивостока, дальше — по Транссибу через всю страну до Челябинска. Там, отбив телеграмму, пересел на оренбургский поезд.

Под стук вагонных колёс, глядя на проплывающие за окном перелески и подстепье, на сменившую их широкую бесконечную степь, предавался он дорожным размышлениям; и чем ближе к дому, тем больше волновался от ожидания встречи с родными. Уже миновали и Бреды, и Айдырлю, а перед самым Новоорском Борис разом забылся сном. Только носом-то и клюнул да глазами моргнул, а ведь завладели им до крайности одуряющие запахи полыни, вялой травы и прелого сена. Охватили мягкие серебристые волны ковыля, словно расправленная пуховая шаль, связанная руками матери. Колыбельной мнились ему сухая трескотня кузнечиков и посвист сусликов, убегающих в придорожную пыль. И облаканный солнцем, босоногий светловолосый мальчишка с тальниковой удочкой на берегу Кумачки махал издали рукой...

III

Жили они на отшибе, на потерявшейся в кайсацкой степи шестой ферме совхоза имени пролетарского писателя Максима Горького. Дворов десятка два, может, чуть больше было там. Кругом, насколько хватает глаз, выровнялась неоглядная, вольная в своём размахе степь. Застуженная, насквозь переметённая зимой метелями; цветущая в весеннюю ростепель

тюльпанами; летом — изморённая зноем до дрожи воздуха над низким горизонтом. Их выбеленная мазанка ничем не выхвалялась — из самана, по-казахски с плоской плетнёвой крышей, покрытой глиной, — присела невдалеке от короткого обрыва. Под ним, внизу — песчаный берег Кумачки с кустистыми тальниковыми зарослями вдоль воды. Окошки приветно выглядывали и на речку, и на подворье, обнесённое пряслом. Отворив двери и разгоняя вхохчущих кур, по утопанному спуску, цепляя обутками скотиний помёт и объедья соломы, сразу можно было сбежать к реке, которая для всех была как купель Божия.

Вода прозрачная, чистая. «Колодезьев» (так там говорили) на шестой ферме и не было, потому как «засолонивались». Из реки воду и пили, и брали для дома; женщины, подобрав подошлы, стирали здесь же; крикливая ребятня бултыхалась, нарушая спокойствие гусей и уток; ниже поили скотину. На мелководье течение тихонько перебирает песчинки; по дюнному дну, преломляясь, бликами играет солнце, вытняя изменчивую водную зыбь. Стайки пестрарей щиплют ноги, а под скалами, по верху глуби, степенно ходят сторожливые красноперые голавли. Борька по целой лозине через плечо рыбы приносил, так что те даже хвостами землю заматали. Песок здесь везде: и на берегу, и в реке, и в названии рыбёшек, и в казахском названии Кумак —

белый песок. Но звали речку все ласково, по-русски, Кумачкой. Вроде как кумачная, красная, светлая, красивая.

Посреди их совхозной шестой фермы возвышалась четырёхлетняя школа. Построенная перед самой войной, она выделялась высокой, на два ската, крышей. В единственной просторной многооконной комнате обучались все, с первого по четвёртый класс. На учительском столе — глобус. Над грифельной доской — призывное «Наше дело правое. Враг будет разбит!» и портрет товарища Сталина. Ему, конечно же, верили, что наша Красная Армия, с которой на фронт ушли отцы, обязательно победит, что в полной мере отольются проклятым фашистам слёзы матерей. На стене, около печки, — большая карта Советского Союза. Около неё частенько толпились мальчишки, водя по ней пальцами и разыскивая города из сводок Совинформбюро.

Чтобы понапрасну не жечь керосин в лампах по позднему зимнему свету, уроки начинались по занимавшемуся над Кумачкой солнышку. Ирина Павловна, их учительница, отдельно каждой группе ребят терпеливо объясняла, распределяла задания, проверяла выполненные работы.

В перемену детвора высыпала на улицу. Беспечно играли, забавляя себя, кто во что горазд; шумно веселились, озорно, по-тарабарски, коверкая название басни дедушки Крылова —

«Петушка и кукух». По снегу всей ватажкой даже успевали затащить на ближайший взгорок сани, избавленные от оглобель, и айда с переполняющим восторгом вниз, к школьному крыльцу, с которого Ирина Павловна уже звала всех на урок.

Любимыми были рисование и родная речь. На обложке видавшего виды учебника так же, как и на их совхозных полях, зыбилась вызревшая рожь, так же низко перед грозой носились над дорогой ласточки и так же вдаль уводил просёлок. Тетрадок не было, писали на чём придётся. Выручало то, что до войны отец вёл учёт всего хозяйства — скотины, сена, молока, посева и сбора зерновых, поэтому дома, хоть и беззастенчиво обсиженный мухами, был некоторый запас конторской бумаги. Вместо чернил — разведённый в воде источенный грифель химического карандаша.

После школы — будничное: приглядеть за сестрёнками, принести воды, поправить стайку, убрать за скотиной, задать сена, заготовить дрова. Топили на ферме кизяком — прессованным навозом с примесью соломы. Таких большущих сосен средь полей ржи, как на обложке «Родной речи», здесь отродясь никогда и не было. Но на растоп всё равно нужен был хворост. И мать, Матрёна Сергеевна, отпросив с совхозного двора муругую бычачью подводку, отправлялась с сынишкой в талы, окаймлявшие берег Кумачки, за сухостоем.

Войну пережили трудно, но голодом не бедствовали. На шестой ферме продолжали сеять и пшеницу, и рожь, и просо с овсами. Совхозное стадо по-прежнему давало молоко. Всё легло на плечи женщин: впряглись по полной — из хомутов не вылазили. Маме, красивой, статной (тогда ей было чуть больше тридцати), пришлось поворочать даже не бабью кузнечную работу. Мужских рук ох как не хватало, а кузнец Тарапкай один не управлялся.

И работала она, как все совхозные: без партийных призывов и лозунгов. Работала на совесть, как могла и умела, казалось, износа ей не будет. Детишек кормить, одевать надо, муж с немецкими фашистами воюет. Кому поплакаться? Корова Зорьке разве что за вечерней дойкой. Привычным делом, тылом ладони поправив сбившуюся на лоб белую с синенькими цветочками косынку, уморившись за день, вздохнёт, а с утра — снова как заведённая. А ещё и нерадостные, горше польни, вести: смерть прибрала в бою за советскую Родину брата Дмитрия. Пересохшей Бауздой порой оборачивалась жизнь, и хоть выревись в полную досталь, никакие слёзы помочь здесь не могли.

IV

В пятый класс Борю отвезли в район. Жил там в чужих людях, «на хлебах», но никак

не мог пообвыкнуть, страшно тянуло домой. Как-то зимой, за полночь, иззябший, он появился в пропахшей горьковатым кизячным дымом родной мазанке, завьюженной снаружи, но полной тепла и любви внутри. Заспанная мать, простоволосая, в исподнице, засветив огонь, запричитала:

— Господи Иусе, мать Божия... Да ты что, сынушка? Случилось что? Двадцать вёрст, а ты идтишь, в снег, пешком, по степи... Наскучился, верно. Горюшко ты моё... Холодно, как не замёрз? А волки... Ах, Господи... — и крепко прижала его к себе, стаскивая с плеч платок и укрывая им сына, гладила по голове, что-то шептала, оборачиваясь на образа.

В печной трубе, словно в подтверждение её слов, тоскливо завывало: то ли бесноватый куражистый ветер, то ли и вправду волчий выводок за дальними скирдами на закрайках. Путь из райцентра действительно был не для зимних прогулок при луне: степная дорога, которую в непогодь переметало напрочь, и даже телеграфных столбов — хоть какого-то ориентира — вдоль неё не было.

Несколько дней Боря отогревался, а как оттепело, отец, к тому времени уже явившийся с войны, заложил лошадь в дровенки, нукнул и с оказией отвёз сынишку на максимгорьковскую Центральную Усадьбу, там была семилетняя школа, к слову, до неё было также километров двадцать степи отхватывать.

В сорок пятом, незадолго до демобилизации, из Восточной Пруссии отец выслал посылку с гостинцами для своих близких и немецкую художественную открытку, от которой ныло неизъяснимо родным: вестфальский пейзаж на открытке удивительным образом напоминал Кумачку. На её обратной стороне он написал:

Вот картина — представляю я:
Кумачка, дом, милая семья.

Вот жена и две дочурки,

Боря на скале

Ловит рыбу, увлекаясь...

Кажется так мне.

Иван Дмитриевич возвратился домой уже глубокой осенью. Со станции завернул в питомник к вдовой сестре Татьяне, и та по лёгкому санному первопутку за разговорами скорбными о делах житейских доставила его дорогим подарением на шестую ферму. Приехали затемно.

— Иван Бутырин! Иван пришёл! Мотя! Мотя! Радость-то какая! — благовестом разнеслось по селу по-русски и по-казахски. — Кильде! Бутырин кильде!

В низенькой мазанке яблоку негде было упасть. Каждый хотел дотронуться до Ивана, обнять, похлопать по плечу, пожать ему руки. Праздничным делом на столе появилась четвертная бутылка, запотевшая с холоду (управляющий по такому случаю распорядился выдать водку

со склада), домашняя колбаса, пряно пахнущая чесноком, огородная снедь и всё то, что наскоро собрала Матрёна, встречая мужа. Были и слёзы, и песни, и отчаянные пляски. Только младшая Тома поначалу забилась в запечье, оттого что не узнала папку. А потом уж и не слезала с его колен. Боря же бережно, с мальчишеским любопытством несколько раз перебрал отцовский солдатский мешок, впитавший сырость окопа, запахи махорки и незнакомого чужого дыма. Там среди прочего немудрёного имущества лежали самые настоящие сигнальный фонарик, обтрёпанные по краям полевые карты, артиллерийские таблицы и логарифмическая линейка.

Медали «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией» вручали рядовому красноармейцу Ивану Бутырину уже после Победы. А потом обнаружили и «За отвагу», и орден Отечественной войны II степени...

К заслугам Бутырины относились с гордостью, но спокойно. Награды томились в коробке с всякими домашними мелочами и не доставались оттуда даже по великим праздникам. Как-то не считалось нужным, что ли: война ведь бедой прошла по каждому, что ж тут тешиться-то друг перед другом. И вспоминать о войне Иван Дмитриевич не любил... За него о войне в доходчивых подробностях рассказывали страшный раздирающий по ночам кашель и рубцы

от осколков. Для него с войны была одна дорогая награда, дороже некуда, — семья живого дождалась.

VI

На Центральной Усадьбе Бутырин-старший переговорил с председателем, объяснил, что «тут такое дело... сынишка наскучивается», что «всё ж душа на месте будет», и порешили, что Боря «останется при них с побывками». Иосиф, так звали председателя, по общему мнению сельчан, был мужиком понимающим, семью Бутыриных знал: за Матрёну сам ходатайствовал к медали, Ивана уважал как природного крестьянина и фронтовика, отмерившего войну с сорок первого. В конце недели, когда заканчивались уроки и «подкидьш» прибегал из школы, Иосиф выводил немудрящую маштаковатую Лыску — кобылёнку с белой полоской на лбу. Боря с прясла забирался в седло. Дядя Иосиф помогал мальчишке поймать ногами непослушные стремяна, и тот на воскресенье лёгким намётом скакал к себе домой, заодно с радостью выполняя несложные поручения по доставке писем и разных совхозных бумаг.

Стылая степь, белая, подёрнутая лиловыми с просинью красками. Большое, красное, акварельное солнце, стремящееся скрыться за далёкий горизонт. Гулкий звук лошадиных копыт в морозном воздухе. Ах, как Борь-

ка был благодарен Лыске за эту дорогу домой! В ту зиму Лыска стала его самым близким другом, пожалуй, даже ближе, чем его закадычники Назар и Туржан с шестой фермы. Не было и дня, чтобы Боря не забегал на задворок к ней в конюшенку покормить с рук и погладить по холке.

На следующий год Бутырины переехали на станцию, где затеялось строительство крупного зернохранилища. Маленькая Лида родилась уже там. Школа была в районном посёлке, в пяти километрах.

VII

И сон-то был коротким, как телеграфные строчки на бланке с их обрывистостью фраз, невпопадными окончаниями, отсутствием предлогов... Кумачка, «Петушка и кукух», отцовский солдатский мешок, Лыска... Поезд вздрогнул, лязгнули вагонные сцепки. Иван Дмитриевич, Матрёна Сергеевна, сёстры Нина, Тома, Лида проглядели все глаза. Бориса не было. Остановка в две минуты заканчивалась. В сторонке, переминаясь и теребя кончики голубенького платочка, стояла Надя. Вагоны качнулись, состав тронулся. Встречающие неторопливо, разочарованно уже было пошли в сторону переезда, Надя — к почте, останавливаясь, оглядываясь и провожая взглядом потянувшиеся вагоны. И тут появился Боря, которого несколько

мгновений назад ровно кто наотмашь полоснул крапивой. Ошалелый ото сна, он выпрыгнул из набирающего скорость поезда — прямо в объятия родных. Слёзы блестели на глазах у всех.

Дома необыкновенно хорошо, сладко тянуло парным коровьим молоком. В печи томились тыква и сомлевший курник с румяной корочкой сдобного теста. На плите стояла ещё тёплая, жаренная на сметане картошка. На столе, покрытом чистой скатертью, в эмалированной чашке — солёный арбуз, хрустящие, в пупырышках, огурцы и ядрёные, с зацепившимися зонтиками укропа и листьями смородины, помидоры из кадки, что на погребнице. Под холстинным полотенцем — свежеиспечённый хлеб, мягкий и душистый.

В окошко было видно, как из калитки дома напротив выбежала ладненькая соседка с косой ниже пояса и лёгким шагом торопливо направилась в клуб.

— Это кто? — спросил Борис.

— Так это же Лю-юда... Кораблёва... хорошая девушка, — получилось, что за всех ответила маленькая, по седьмому году, Лида.

— Да-да, Люда Кораблёва... Да садитесь же вы за стол, пока не выстыло! — счастливым голосом позвала семью Матрёна Сергеевна. — Сыночек, садись... дома ведь. Радость-то какая... За отца в войну молилась, и Бог услышал... И за тебя... Вы ведь у нас одни...